

I

Третью неделю я смотрел на этот город: он лежал передо мной как на ладони — и словно на другой планете. Всего лишь в нескольких километрах от меня, отделенный узким рукавом морского залива, который я, пожалуй, мог бы и переплыть, — и все же недосыгаемый и недоступный, будто окруженный армадой танков. Он был защищен самыми надежными бастионами, какие изобрело двадцатое столетие, — крепостными стенами бумаг, паспортных предписаний и бесчеловечных законов непрошибаемо бездушной бюрократии. Я был на острове Эллис*, было лето 1944 года, и передо мной лежал город Нью-Йорк.

Из всех лагерей для интернированных лиц, какие мне доводилось видеть, остров Эллис был самым гуманным. Тут никого не били, не пытали, не истязали до смерти непосильной работой и не травили в газовых камерах. Здешним обитателям даже предоставлялось хорошее питание, причем бесплатно, и постели, в которых разрешалось спать. Повсюду, правда, торчали часовые, но они были почти любезны. На острове Эллис содержались прибывшие в Америку ино-

* Небольшой остров в заливе Аппер-Бэй близ Нью-Йорка, к югу от южной оконечности Манхэттена; в 1892—1943 гг. — главный центр по приему иммигрантов в США, до 1954 г. — карантинный лагерь. — *Здесь и далее примеч. ред.*

странцы, чьи бумаги либо внушали подозрение, либо просто были не в порядке. Дело в том, что одной только въездной визы, выданной американским консульством в европейской стране, для Америки было недостаточно, — при въезде в страну следовало еще раз пройти проверку нью-йоркского иммиграционного бюро и получить разрешение. Только тогда тебя впускали — либо, наоборот, объявляли нежелательным лицом и с первым же кораблем высылали обратно. Впрочем, с отправкой обратно все давно уже обстояло совсем не так просто, как раньше. В Европе шла война, Америка тоже увязла в этой войне по уши, немецкие подлодки рыскали по всей Атлантике, так что пассажирские суда к европейским портам назначения отплывали отсюда крайне редко. Для иных бедолаг, которым было отказано во въезде, это означало пусть крохотное, но счастье: они, давно уже привыкшие исчислять свою жизнь только днями и неделями, обретали надежду еще хоть какое-то время побыть на острове Эллис. Впрочем, вокруг ходило слишком много всяких прочих слухов, чтобы тешить себя такой надеждой, — слухов о битком набитых евреями кораблях-призраках, которые месяцами бороздят океан и которым, куда бы они ни приплыли, нигде не дают причалить. Некоторые из эмигрантов уверяли, будто своими глазами видели — кто на подходе к Кубе, кто возле портов Южной Америки — эти толпы отчаявшихся, молящих о спасении, теснящихся к поручням людей на заброшенных кораблях перед входом в закрытые для них гавани, — этих горестных «летучих голландцев» наших дней, уставших удирать от вражеских подлодок и людского жестокосердия, перевозчиков живых мертвецов и проклятых душ, чья единственная вина заключалась лишь в том, что они люди и жаждут жизни.

Разумеется, не обходилось и без нервных срывов. Станным образом здесь, на острове Эллис, они случались даже чаще, чем во французских лагерях, когда немецкие войска и гестапо стояли совсем рядом, в нескольких километрах. Вероятно, во Франции эта сопротивляемость собственным

нервам была как-то связана с умением человека приспособиться к смертельной опасности. Там дыхание смерти ощущалось столь явно, что, должно быть, заставляло человека держать себя в руках, зато здесь люди, только-только расслабившиеся при виде столь близкого спасения, спустя короткое время, когда спасение вдруг начинало снова от них ускользать, теряли самообладание начисто. Впрочем, в отличие от Франции, на острове Эллис не случалось самоубийств — наверное, все-таки еще слишком сильна была в людях надежда, пусть и пронизанная отчаянием. Зато первый же невинный допрос у самого безобидного инспектора мог повлечь за собой истерику: недоверчивость и бдительность, накопленные за годы изгнания, на мгновение давали трещину, и после этого вспышка нового недоверия, мысль, что ты совершил непоправимую ошибку, повергала человека в панику. Обычно у мужчин нервные срывы случались чаще, чем у женщин.

Город, лежавший столь близко и при этом столь недоступный, становился чем-то вроде морока — он мучил, манил, издевался, все суля и ничего не исполняя. То, окруженный стайками клочковатых облаков и сиплыми, будто рев стальных ихтиозавров, гудками кораблей, он представлял громадным расплывчатым чудищем, то, глубокой ночью, ошестиниваясь сотней башен бесшумного и призрачного Вавилона, превращался в белый и неприступный лунный ландшафт, а то, поздним вечером, утопая в бурне искусственных огней, становился искрометным ковром, распростертым от горизонта до горизонта, чуждым и ошеломляющим после непроглядных военных ночей Европы, — об эту пору многие беженцы в спальном зале вставали, разбуженные всхлипами и вскриками, стонами и хрипом своих беспокойных соседей, тех, кого все еще преследовали во сне гестаповцы, жандармы и головорезы-эсэсовцы, и, сбиваясь в темные людские горстки, тихо переговариваясь или молча, вперив горящий взгляд в зыбкое марево на том берегу, в ослепительную световую панораму земли обетован-

ной — Америки, застывали возле окон, объединенные неммым братством чувств, в которое сводит людей только горе, счастье же — никогда.

У меня был немецкий паспорт, годный еще на целых четыре месяца. Этот почти подлинный документ был выдан на имя Людвиг Зоммера. Я унаследовал его от друга, умершего два года назад в Бордо; поскольку указанные в паспорте внешние приметы — рост, цвет волос и глаз — совпадали, некто Бауэр, лучший в Марселе специалист по подделке документов, а в прошлом профессор математики, посоветовал мне фамилию и имя в паспорте не менять; и хотя среди тамошних эмигрантов было несколько отличных литографов, сумевших уже не одному беспаспортному беженцу выправить вполне сносные бумаги, я все-таки предпочел последовать совету Бауэра и отказаться от собственного имени, тем более что от него все равно уже не было почти никакого толку. Наоборот, это имя значилось в списках гестапо, посему испариться ему было самое время. Так что паспорт у меня имелся почти подлинный, зато фото и я сам малость фальшивили. Умелец Бауэр растолковал мне выгоды моего положения: сильно подделанный паспорт, как бы замечательно он ни был сработан, годен только на случай беглой и небрежной проверки — всякой сколько-нибудь дельной криминалистической экспертизе он противостоят не в силах и неминуемо выдаст все свои тайны; тюрьма, депортация, если не что похуже, мне в этом случае обеспечены. А вот проверка подлинного паспорта при фальшивом обладателе — история куда более длинная и хлопотная: по идее, следует направить запрос по месту выдачи, но сейчас, когда идет война, об этом и речи быть не может. С Германией нет никаких связей. Все знатоки решительно советуют менять не паспорта, а личность; подлинность штемпелей стало проверять легче, чем подлинность имен. Единственное, что в моем паспорте не сходилось, так это вероисповедание. У Зоммера оно было иудейское, у меня — нет. Но Бауэр посчитал, что сие несущественно.

— Если немцы вас схватят, вы просто выбросите паспорт, — учил он меня. — Поскольку вы не обрезаны, то, глядишь, как-нибудь вывернетесь и не сразу угодите в газовую камеру. Зато пока вы от немцев убегаете, то, что вы еврей, вам даже на пользу. А невежество по части обычаев объясните тем, что ваш отец и сам был вольнодумцем, и вас так воспитал.

Бауэра через три месяца схватили. Роберт Хирш, вооружившись бумагами испанского консула, попытался вызволить его из тюрьмы, но опоздал. Накануне вечером Бауэра с эшеленом отправили в Германию.

На острове Эллис я повстречал двух эмигрантов, которых мельком знал и прежде. Случалось нам несколько раз повидаться на «страстном пути». Так назывался один из этапов маршрута, по которому беженцы спасались от гитлеровского режима. Через Голландию, Бельгию и Северную Францию маршрут вел в Париж и там разделялся. Из Парижа одна линия вела через Лион к побережью Средиземного моря; вторая, проскочив Бордо, Марсель и перевалив Пиренеи, убегала в Испанию, Португалию и утыкалась в лиссабонский порт. Вот этот-то маршрут и окрестили «страстным путем». Тем, кто им следовал, приходилось спасаться не только от гестапо — надо было еще не угодить в лапы местным жандармам. У большинства ведь не было ни паспортов, ни тем более виз. Если такие попадались жандармам, их арестовывали, приговаривали к тюремному заключению и выдворяли из страны. Впрочем, во многих странах у властей хватало гуманности доставлять их по крайней мере не к немецкой границе — иначе они неминуемо погибли бы в концлагерях. Поскольку очень немногие из беженцев имели возможность взять с собой в дорогу пригодный паспорт, едва ли не все были обречены почти непрерывно скитаться и прятаться от властей. Ведь без документов они не могли получить никакой легальной работы. Большинство страдали от голода, нищеты и одиночества, вот они и называли дорогу своих скитаний «страстным путем». Их оста-

новками на этом пути были главпочтамты в городах и стены вдоль дорог. На главпочтамтах они надеялись получить корреспонденцию от родных и друзей; стены домов и оград вдоль шоссе служили им газетами. Мелом и углем запечатлевались на них имена потерявшихся и искавших друг друга, предостережения, наставления, вопли в пустоту — все эти горькие приметы эпохи людского равнодушия, за которой вскоре последовала эпоха бесчеловечности, то бишь война, когда по обе стороны фронта гестаповцы и жандармы нередко делали одно общее дело.

Одного из этих эмигрантов, увиденных на острове Эллис, я, помнится, встретил на швейцарской границе, когда в течение одной ночи таможенники четыре раза отправляли нас во Францию. А там французские пограничники ловили нас и гнали обратно. Холод был жуткий, и в конце концов мы с Рабиновичем кое-как уговорили швейцарцев посадить нас в тюрьму. В швейцарских тюрьмах топили, для беженцев это был просто рай, мы с превеликой радостью провели бы там всю зиму, но швейцарцы, к сожалению, очень практичны. Они быстренько сбагрили нас через Тессин* в Италию, где мы и расстались. У обоих этих эмигрантов были в Америке родственники, которые дали за них финансовые ручательства. Поэтому уже через несколько дней их выпустили с острова Эллис. На прощанье Рабинович пообещал мне поискать в Нью-Йорке общих знакомых, товарищей по эмигрантскому несчастью. Я не придавал его словам никакого значения. Обычное обещание, о котором забываешь при первых же шагах на свободе.

Несчастливым, однако, я себя здесь не чувствовал. За несколько лет до того, в брюссельском музее, я научился часами сидеть в неподвижности, сохраняя каменную невозмутимость. Я погружался в абсолютно бездумное состояние, граничившее с полной отрешенностью. Глядя на себя как бы со стороны, я впадал в тихий транс, который смягчал неослабную судорогу долгого ожидания: в этой странной ши-

* Кантон в Швейцарии, граничащий с Италией.

зофренической иллюзии мне под конец даже начинало чудиться, что это жду вовсе не я, а кто-то другой. И тогда одиночество и теснота крошечной кладовки без света уже не казались непереносимыми. В эту кладовку меня спрятал директор музея, когда гестаповцы в ходе очередной облавы на эмигрантов прочесывали весь Брюссель квартал за кварталом. Мы с директором виделись считанные секунды, только утром и вечером: утром он приносил мне что-нибудь поесть, а вечером, когда музей закрывался, он меня выпускал. В течение дня кладовка была заперта; ключ был только у директора. Конечно, когда кто-то шел по коридору, мне нельзя было кашлять, чихать и громко шевелиться. Это было нетрудно, но щеколка страха, донимавшая меня поначалу, легко могла перейти в панический ужас при приближении действительно серьезной опасности. Вот почему в деле накопления психической устойчивости я на первых порах зашел, пожалуй, даже дальше, чем нужно, строго-настрого запретив себе смотреть на часы, так что иной раз, особенно по воскресеньям, когда директор ко мне не приходил, вообще не знал, день сейчас или ночь, — к счастью, у меня хватило ума вовремя отказаться от этой затеи. В противном случае я неминуемо утратил бы последние остатки душевного равновесия и вплотную приблизился бы к той трясине, за которой начинается полная утрата собственной личности. А я и так от нее никогда особо не удалялся. И удерживала меня вовсе не вера в жизнь; надежда на отмщение — вот что меня спасало.

Неделю спустя со мной вдруг заговорил тощий, покойнического вида господин, смахивавший на одного из тех адвокатов, что стаями ненасытного воронья кружили по нашему просторному дневному залу. При себе он имел плоский чемоданчик-дипломат зеленой крокодиловой кожи.

— Вы, случайно, не Людвиг Зоммер?

Я недоверчиво оглядел незнакомца. Говорил он по-немецки.

— А вам-то что?

— Вы не знаете, Людвиг Зоммер вы или кто-то еще? — переспросил он и хохотнул своим коротким, каркающим смехом. Поразительно белые, крупные зубы плохо вязались с его серым, помятым лицом.

Я тем временем успел прикинуть, что особых причин утаивать свое имя у меня вроде бы нет.

— Это-то я знаю, — отозвался я. — Только вам зачем это знать?

Незнакомец несколько раз сморгнул, как сова.

— Я по поручению Роберта Хирша, — объявил он наконец.

Я изумленно вскинул глаза.

— От Хирша? Роберта Хирша?

Незнакомец кивнул.

— От кого же еще?

— Роберт Хирш умер, — сказал я.

Теперь уже незнакомец глянул на меня озадаченно.

— Роберт Хирш в Нью-Йорке, — заявил он. — Не далее как два часа назад я с ним беседовал.

Я тряхнул головой.

— Исключено. Тут какая-то ошибка. Роберта Хирша расстреляли в Марселе.

— Глупости. Это Хирш послал меня сюда помочь вам выбраться с острова.

Я ему не верил. Я чуял, что тут какая-то ловушка, подстроенная инспекторами.

— Откуда бы ему знать, что я вообще здесь? — спросил я.

— Человек, представившийся Рабиновичем, позвонил ему и сказал, что вы здесь. — Незнакомец достал из кармана визитную карточку. — Я Левин из «Левина и Уотсона». Адвокатская контора. Мы оба адвокаты. Надеюсь, этого вам достаточно? Вы чертовски недоверчивы. С чего бы вдруг? Неужто столько всего скрываете?

Я перевел дух. Теперь я ему поверил.

— Всею Марселю было известно, что Роберта Хирша расстреляли в гестапо, — повторил я.

— Подумаешь, Марсель! — презрительно хмыкнул Левин. — Мы тут в Америке!

— В самом деле? — Я выразительно оглядел наш огромный дневной зал с его решетками на окнах и эмигрантами вдоль стен.

Левин снова издал свой каркающий смешок.

— Ну, пока еще не совсем. Как вижу, чувство юмора вы еще не утратили. Господин Хирш успел кое-что о вас рассказать. Вы ведь были вместе с ним в лагере для интернированных во Франции. Это так?

Я кивнул. Я все еще не мог толком прийти в себя. «Роберт Хирш жив! — вертелось у меня в голове. — И он в Нью-Йорке!»

— Так? — нетерпеливо переспросил Левин.

Я снова кивнул. Вообще-то это было так только наполовину: Хирш пробыл в том лагере не больше часа. Он приехал туда, переодевшись в форму офицера СС, чтобы потребовать от французского коменданта выдать ему двух немецких политэмигрантов, которых разыскивало гестапо. И вдруг увидел меня — он не знал, что я в лагере. Глазом не моргнув Хирш тут же потребовал и моей выдачи. Комендант, пугливый майор-резервист, давно уже сытый всем по горло, перечить не стал, но настоял на том, чтобы ему оставили официальный акт передачи. Хирш ему такой акт дал — он всегда имел при себе уйму самых разных бланков, подлинных и фальшивых. Потом отсалютовал гитлеровским «хайль!», затолкал нас в машину и был таков. Обоих политиков год спустя взяли снова: они в Бордо угодили в гестаповскую западню.

— Да, это так, — сказал я. — Могу я взглянуть на бумаги, которые вам дал Хирш?

Левин секунду поколебался.

— Да, конечно. Только зачем вам?

Я не ответил. Я хотел убедиться, совпадает ли то, что написал обо мне Роберт, с тем, что сообщил о себе инспекторам я. Я внимательно прочел листок и вернул его Левину.

— Все так? — спросил он снова.

— Так, — ответил я и огляделся. Как же мгновенно все вокруг изменилось! Я больше не один. Роберт Хирш жив. До меня вдруг долетел голос, который я считал умолкнувшим навсегда. Теперь все по-другому. И ничто еще не потеряно.

— Сколько у вас денег? — поинтересовался адвокат.

— Сто пятьдесят долларов, — осторожно ответил я.

Левин покачал своей лысиной.

— Маловато даже для самой краткосрочной транзитно-гостевой визы, чтобы проехать в Мексику или Канаду. Но ничего, это еще можно уладить. Вы чего-то не понимаете?

— Не понимаю. Зачем мне в Канаду или в Мексику?

Левин снова ослабил свои лошадиные зубы.

— Совершенно незачем, господин Зоммер. Главное для начала переправить вас в Нью-Йорк. Краткосрочную транзитную визу запросить легче всего. А уж оказавшись в стране, вы ведь можете и заболеть. Да так, что не в силах будете продолжить путешествие. И придется подавать запрос на продление визы, а потом еще. Ситуация может измениться. Ногу в дверь просунуть — вот что покамест самое главное! Теперь понимаете?

— Да.

Мимо нас с громким плачем прошла женщина. Левин извлек из кармана очки в черной роговой оправе и посмотрел ей вслед.

— Не слишком-то весело тут торчать, верно?

Я передернул плечами.

— Могло быть хуже.

— Хуже? Это как же?

— Много хуже, — пояснил я. — Можно, живя здесь, умирать от рака желудка. Или, к примеру, остров Эллис мог бы оказаться в Германии, и тогда вашего отца у вас на глазах приколачивали бы к полу гвоздями, чтобы заставить вас признаться.

Левин посмотрел на меня в упор.

— Чертовски своеобразная у вас фантазия.

Я покачал головой, потом сказал:

— Нет, просто чертовски своеобразный опыт.

Адвокат достал огромный пестрый носовой платок и оглушительно высморкался. Потом аккуратно сложил платок и сунул обратно в карман.

— Сколько вам лет?

— Тридцать два.

— И сколько из них вы уже в бегах?

— Пять лет скоро.

Это было не так. Я-то скитался значительно дольше, но Людвиг Зоммер, по чьему паспорту я жил, — только с 1939 года.

— Еврей?

Я кивнул.

— А внешность не сказать чтобы особенно еврейская, — заметил Левин.

— Возможно. Но вам не кажется, что у Гитлера, Геббельса, Гимmlера и Гесса тоже не особенно арийская внешность? Левин опять издал свой короткий каркающий смешок.

— Чего нет, того нет! Да мне и безразлично. К тому же с какой стати человеку выдавать себя за еврея, раз он не еврей? Особенно в наше-то время? Верно?

— Может быть.

— В немецком концлагере были?

— Да, — неохотно вспомнил я. — Четыре месяца.

— Документы какие-нибудь есть оттуда? — спросил Левин, и в его голосе мне послышалось нечто вроде алчности.

— Не было никаких документов. Меня просто выпустили, а потом я сбежал.

— Жаль. Сейчас они бы нам оченьгодились.

Я глянул на Левина. Я понимал его, и все же что-то во мне противилось той гладкости, с которой он переводил все это в бизнес. Слишком мерзко и жутко это было. До того жутко и мерзко, что я сам с превеликим трудом сумел с этим совладать. Не забыть, нет, но именно совладать, переплавить и погрузить в себя, покуда оно без надобности. Без надобности здесь, на острове Эллис, — но не в Германии.

Левин открыл свой чемоданчик и достал оттуда несколько листков.